
Малое
собрание
сочинений

Д а н и и л ГРАНИН

Малое
собрание
сочинений



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Г 77

Серийное оформление Ильи Кучмы

Оформление обложки Виктории Манацковой

Составитель Наталия Соколовская

Гранин Д.

Г 77 Малое собрание сочинений / Даниил Гранин. — СПб. :
Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 608 с.

ISBN 978-5-389-15661-6

Даниил Александрович Гранин — классик современной русской литературы, солдат Второй мировой войны, гуманист, общественный деятель, лауреат литературных и государственных премий, один из самых честных и пронзительных писателей второй половины XX века.

По крайней мере трижды он становился истинным властителем умов: в пятидесятые-шестидесятые, когда появились романы «Искатели» и «Иду на грозу», в конце семидесятых, после выхода «Блокадной книги», и в восьмидесятые, когда вышла повесть «Зубр».

В настоящее издание вошли известные повести и рассказы разных лет, давно вошедшие в золотой фонд отечественной прозы.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-15661-6

© Д. А. Гранин (наследник), 2018
© Оформление, состав.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®



Зубр



Глава первая

В день открытия конгресса был дан прием во Дворце съездов. Между длинными накрытыми столами после первых тостов закружился густой разноязычный поток. Переходили с бокалами от одной группы к другой, знакомились и знакомили, за кого-то пили, кому-то передавали приветы, кого-то разыскивали, вглядываясь в карточки, которые блестели у всех на лацканах. Там была эмблема конгресса, фамилия и страна участника. Кружение это, или кипение, с виду беспорядочное, бессмысленное, составляло между тем наибольшее удовольствие и, я бы сказал, даже пользу такого рода международных сборищ. Деловая часть — доклады, сообщения — все это, конечно, тоже было необходимо, хотя большинство лишь делало вид, что что-то в них понимает. Некоторые и не жаждали понимать, но все жаждали общения, возможности поболтать с тем, кого давно знали по публикациям, что-то спросить, рассказать, выяснить. Тут-то и происходило самое нужное, самое дорогое для всех этих людей, разлученных большую часть жизни, разбросанных по университетам, институтам, лабораториям Европы, Америки, Азии и даже Австралии.

Тут были знаменитости прошлого, памятные только пожилым, некогда нашумевшие, обещавшие новые направления; надежды, как водится, не оправдались, от обещаний осталось совсем немного, слава богу, если хоть что-то, хоть одна мутация, одна статейка... Историей своей науки — генетики — молодые, как правило, не интересовались. Для них существовали корифеи сегодняшние, лидеры новых надежд, новых обещаний. Были знаменитости в каких-то своих узких областях — по болезням

кукурузы, по выживаемости дуба, были знаменитости всеобщие, которые сумели что-то понять в наследственности, в механизме эволюции. А были такие знаменитости, живые классики, о которых даже я что-то слышал. Между столами, между группами сновали молодые, у которых все было впереди — и громкая слава, и горькие неудачи.

Прием был тем замечателен, что знакомства, разговоры происходили в начале конгресса, можно было выяснить, кто — кто, кто присутствует, кого нет...

В этом совершенно хаотическом движении среди возгласов, звона рюмок, смеха, поклонов вдруг что-то произошло, легкое движение, шепот пополз, зашелестел. На рассеяннo-улыбчивых лицах, оживленных как бы беспредметно, появилось любопытство. Кое-кто двинулся в дальний угол зала. Одни словно невзначай, другие решительно и удивленно.

В том дальнем углу в кресле сидел Зубр. Могучая его голова была набычена, маленькие глазки сверкали исподлобья колюче и зорко. К нему подходили, кланялись, осторожно пожимали руку. Оттопырив нижнюю губу, он пофыркивал, рычал то одобрительно, то возмущенно. Густая седая грива его лохматилась. Он был, конечно, стар, но годы не источили его, а скорее задубили. Он был тяжел и тверд, как мореный дуб.

Женщина, худенькая, немолодая, обняла его, расцеловала. Женщина была та самая Шарлотта Ауэрбах, чьи книги недавно вышли в переводе на русский, вызвали интерес, ее уже знали в лицо, в то время как Зубра в лицо не знали. Большинство подходило именно затем, чтобы взглянуть на него хотя бы издали. Шарлотта приехала из Англии. Когда-то она бежала туда из гитлеровской Германии. Зубр помог ей устроиться в Англии. Это было давно, в 1933 году, возможно, он забыл об этом, но она помнила малейшие подробности. Легкие женские слезы радости катились по ее щекам. Кроме радости, была еще и печаль долгой разлуки. Сорок пять лет прошло с того дня, как они расстались. Миновали эпохи, весь мир изменился, а Зубр оставался для нее прежним, все таким же старшим, хотя они были одногодки.

Подошел американец, лауреат Нобелевской премии, нескладный, длиннорукий. Он обнял Зубра, захлопал носом. Он вел се-

бя как хотел, вытирал нос рукой, он был корифей и мог позволить себе. За ним подошел грек Канелис, которого Зубр спас лет тридцать пять назад в Берлине, продержав его у себя до конца войны. Древний грек Антоша Канелис, как звал его Зубр, был немногословен, он знал все языки, хотя не говорил ни на одном, он любил молчать, он молчал на всех языках, и тем не менее все убеждались через его молчаливость, какой это прекрасный человек.

Деликатно выждав свою очередь, к Зубру приблизился Майкл Уайт, австралийская звезда, самоуверенный красавец, но тут он несколько смущенно принялся объяснять, что он тот самый юноша, который сопровождал Зубра и Феодосия Добржанского по Лондону, вернее, должен был водить, а он сопровождал, потому что Зубр и Добржанский разговаривали между собой, теряли его, потом спохватывались, кричали: «Где этот парень?» Зубр одобрительно хмыкал: «Федька Добржанский...» Как ни странно, Уайта он помнил, а Лондон помнился смутно. За Уайтом тянулся голландец, за ним группа немцев, за ней азербайджанский молодой профессор, которого представил его московский соавтор. С Джузеппе Монталенти Зубр перемолвился по-итальянски. Одним из украшений конгресса — ибо на каждом конгрессе, симпозиуме, съезде должно быть свое «высочество» — был швед Густафсон, он тоже протискивался к Зубру. А другое украшение конгресса — президент общества, представитель, уполномоченный, главный редактор, координатор и прочая — человек светский, тертый, умеющий себя подать, всегда находчиво-острый, тут вдруг оробел и все допытывался у одной из наших молоденьких сотрудниц — удобно ли представить его Зубру.

Молодые теснились поодаль, с любопытством разглядывая и самого Зубра, и этот не предусмотренный программой церемониал — парад знаменитостей, которые подходили к Зубру засвидетельствовать свое почтение. Сам Зубр принимал этот неожиданный парад как должное. Похоже было, что ему нравилась роль маршала или патриарха; он милостиво кивал, выслушивал людей, которые занимались, несомненно, наилучшей, самой прекрасной и доброй из всех наук — они изучали Природу: кто и что растет на земле, все, что движется, летает, ползает, по-

чему все это живое живет и множится, почему развивается, меняется или не меняется, сохраняя свои формы. Поколение за поколением эти люди старались понять то таинственное начало, которое отличает живое от неживого. Как никто другой, постигали они душу, что вложена в каждого червяка, в каждую муху, хотя, разумеется, вместо этого ненаучного названия они употребляли длинные труднопроизносимые термины; но тот из них, кто забирался глубоко, невольно замирал перед чудом совершенства ничтожнейших организмов. Даже на уровне клетки, простейшего устройства, оставалась непостижимая сложность поведения, нечто одушевленное. Прикосновение к трепетной этой материи невольно объединяло всю эту разноязычную, разновозрастную, разноликую публику.

Как всегда бывает, тут же возле Зубра вертелся один бойкий профессор, собирая свою мелкую жатву визитных карточек, рукопожатий; он произносил какие-то фразы, вероятно умные, но они пропадали, на них не хватало внимания.

Непосвященные шептались, стараясь не пропустить ничего из происходящего. Потому что чувствовали, что на глазах у них творится событие историческое. О Зубре ходили легенды, множество легенд, одна невероятнее другой. Их передавали на ухо. Не верили. Ахали. Было бы странно, если бы подобные рассказы подтвердились. Они походили на мифы, которыми пытались объяснить какие-то факты его жизни. О нем существовали анекдоты, ему приписывались изречения, выходки и поступки совершенно невозможные. Были просто сказочные истории, интересно, что не всегда для него лестные, некоторые так прямо зловещие. Но большей частью героические или же плутовские, никак не связанные с наукой.

Теперь, разглядывая его в натуральности, все невольно сливали его с тем образом, который витал в их воображении. И как ни удивительно, все сходилось. Видно было по его коренастой фигуре, по его ручищам, какой огромной физической силы был этот человек. Лицо его было изрезано морщинами жизни бурной и значительной. Следы минувших схваток, отчаянных схваток не безобразили, а скорее украшали его сильную, породистую физиономию. И держался он по-иному, чем все, — свободнее, раскованнее. Чувствовалось, что безоглядность присуща его на-

туре. Он позволял себе быть самим собою. Каким-то образом он сохранял эту привилегию детей. В нем были изысканность и — грубость. И то и другое соответствовало легендам о его аристократических предках и о его драках с уголовниками.

У любимого его ученика Володи Иванова я увидел дома картину. Это было единственное, что он взял после смерти Зубра на память об учителе. В. Иванову было предоставлено право выбора, и он выбрал картину. Ее называют «Три зубра». На ней изображен сам Зубр, он сидит, держит руки на фигуре зубра; на стене, над ним, висит фотография Нильса Бора. Обычная, известная фотография, но в соседстве с этими двумя зубрами у Нильса Бора тоже проступает «зубрость», бычье упорство, тяжелая челюсть, сосредоточенность и диковатость, неприрученность зубров, бизонов — «вида, почти начисто истребленного человеком». У них много общего — у Зубра и у Нильса Бора, недаром они так легко сошлись, когда Зубр приехал в школу Нильса Бора.

Фигура под руками Зубра как бы вырастает в матерую четвероногую сутулую махину весом чуть ли не в тонну, с мохнатым загривком, горбоносой мордой. Даже в заповеднике они не подпускают к себе человека ближе чем на тридцать метров.

А сам Зубр здесь еще в полной силе и красе. Художник рисовал его, когда ему было лет шестьдесят. А может, шестьдесят пять или семьдесят. Последние годы он оставался неизменным. Новые морщины не старили его. Я никогда не встречал похожих на него. Он из тех людей, которые запоминаются сразу, их ни с кем не спутаешь. Я видел его молодые фотографии и портреты, — разумеется, лицо там гладкое, волосы дыбом, кудряво-черные, но выхватываешь его сразу, в любой группе. Даже на кадре плохо снятой кинохроники 1918 года его можно узнать в строю красноармейцев. День всевобуча в Москве 28 мая 1918 года. Красная площадь. У Исторического музея стоят в вольном строю красноармейцы. Над ними бархатные знамена-хоругви, «Да здравствует союз рабочих и крестьян!» и прочие надписи, уже плохо различимые. Красноармейцы в гимнастерках, ботинки с обмотками, фуражечки — козырьки лакированные. Среди прочих рядом с усачом стоит в профиль наш Зубр. Тоненький, но знакомо сутуловатый, узнаваемый безошибочно. Снимок был

напечатан в 1967 году в журнале «Советский экран», и сразу начались звонки: «Видали? Это же вы! Мы вас сразу нашли...»

Художник на портрете написал его красной краской. Не знаю, что хотел красным цветом сказать армянский художник, но портрет получился. На нем кистью выражена куда лучше, чем я могу это сделать пером, раскаленность этой натуры, «зубрость».

...В бинокль я видел, как он выходил из чащи. Косматая туша, не приспособленная к заповеднику. Тесно ему было в этих малых, скупотмеренных лесных угодьях, некуда запрятать громаду своего тела, некуда девать свою силу. Воинственно уставив короткие рога, он шел почти бесшумно, влажные ноздри его подрагивали. Он казался громоздким, был излишне тяжел, излишне велик рядом с косулями, горными козлами и прочей живностью заповедника. В нем чувствовалась древность...

Мне вспомнилась больничная палата, уставленная койками в два ряда. Кроме Зубра, там лежали еще человек десять. Я нашел его сразу, потому что все смотрели в его сторону. Он кого-то слушал, и время от времени раздавался его низкий мощный рык. Он был центром палаты. Где бы он ни появлялся, через какое-то время он становился центром. От него ненасытно ждали чего-то и чем больше получали, тем больше ждали.

Я сидел на койке в ногах у него. Густой запах лекарств, карболки, спирта, стеклянный звон пузырьков, скрип кроватей, охи нездоровых тел — больничный быт никак не вязался с Зубром. Он полулежал на подушках. В распахе казенной рубахи видна была широкая косматая грудь. Руки, мускулистые, обнаженные по локоть, вылеплены были безукоризненно. Кожа была гладкой, белой, неуместно нежной. Воинственно выпяченная нижняя губа придавала лицу и грубость, и породистость. В нем это сочеталось — мужицкое и утонченное. Зверское и аристократическое. В этом бязевом застиранном белье, таком же, как на всех, сотрясаемый тем же кашлем, подчиненный тем же процедурам, что и все, — уколы, осмотры, в этой обстановке не оставалось ни должностей, ни званий, ни окладов, ничего приобретенного, ничего из того, что ценилось там, за дверями палаты. Я проверил себя: может, мы приписываем ему многое потому, что знаем, кто он? Оказалось, что и здесь, в этой палате, боль-

ные, понятия не имея, кто такой Зубр, откуда он, чем знаменит, признали его старшинство, его превосходство.

Я рассказывал ему новости, когда вдруг луч зимнего солнца сбоку высветил его заросшую шею, уголок глаза, прикрытый морщинистым веком, седые космы его шевелюры. Непривычный ракурс, световая вспышка позволили увидеть нечто скрытое: это не возраст, не престарелость, а *древность*. Существо из другой эпохи, архаичное, чудом уцелевшее до наших дней. Он был из той поры, когда стада зубров еще бродили в урочищах Кавказа и горах Гарца. Экземпляр давно вымершего вида, диковина вроде живой кистеперой рыбы — целаканта, которую все считали вымершей семьдесят миллионов лет назад.

Армянский художник запечатлел эту допотопность, возможно даже не сознавая того. Мы все ходили вокруг да около, а он выразил то, что не давалось нам. Художники бывают провидцами. Перелистывая альбом рисунков Леонида Пастернака, я обратил внимание на портреты двух его сыновей — Александра и Бориса: два симпатичных мальчика, нарисованных отцом с любовью, и как явственно отличие облика Бориса, отмеченного печатью гения!

В этой случайной городской больнице, лишенный привилегий, в общей палате, он выглядел еще трагичнее и величественнее. Античный герой, римский император в изгнании, король Лир в рубище — разная такая ерундовина лезла в голову.

А еще протопоп Аввакум, которого Зубр чрезвычайно читил, цитировал и приписывал ему свои собственные изречения для пущего авторитета:

— Вернемся на первое, как говаривал протопоп Аввакум, и посмотрим, почему же сие важно в-пятых, и увидим, что в-пятых сие вовсе и не важно.

Тощие подушки, и горелая каша, и хрип в груди были не важны, а важно было то, что он только что вычитал в английской книжке «Жизнь после жизни» — рассказы вернувшихся *оттуда*, после реанимации, тех, кто побывал на том берегу, заглянул за порог бытия. Вся мощь его ума, его знаний беспомощно застревала перед глухой стеной, в которую упирался конец жизни. Что там? Есть там что-нибудь или же нет? Куда же девается душа, сознание, мое «я»?

...Луч погас, видение пропало, передо мной снова был хрипящий, надсадно кашляющий больной, который болеть не умел, потому что болел редко, и оттого болел тяжело. Ощущение бренности, растущей непрочности его пребывания среди нас встревожило меня, пожалуй, впервые. До этой минуты он казался бессмертным, как Нева, как Уральские горы, как статуи римских консулов, что стоят в Эрмитаже... Цепь имела конец, другой конец ее уходил в неведомые нам двадцатые, тридцатые годы, в Гражданскую войну, в Московский университет времен Лебедева и Тимирязева, тянулся и далее — в девятнадцатый век и даже в восемнадцатый, во времена Екатерины. Он был живым, ощутимым звеном этой цепи времен, казалось оборванной навсегда, но вот найденной, еще живой.

Вот тогда я решил записать его рассказы, сохранить, запрягать в кассеты, в рукописи хотя бы остатки того, что до сих пор транжирил в трепе с ним у костров, в застолье, в бестолковых расспросах. С этого дня я стал записывать.

Глава вторая

На перроне Казанского вокзала в морозный декабрьский день 1955 года собралось довольно много встречающих. Большинство из них были знакомы, поскольку все они были коренные москвичи, связанные университетом, кафедрами, домами, общими приятелями. Встречать Зубра пришли не только биологи, были тут и физики, и филологи, и моряки, прежде всего друзья по поколению. Явились почему-то семьями, с детьми, чтобы показать им его, того самого, о котором столько толковали. Все ощущали торжественность, чуть ли не историчность момента.

Впервые Зубру было разрешено вернуться в Москву. Отсутствовал он более тридцати лет, ибо отбыл из Москвы в 1925 году. Отбывал он с Белорусского вокзала в Германию, а возвращался ныне с Казанского, с Урала, с другой стороны земли.

1956 год был годом особенным, бурным годом прозрений, взлета общественного сознания, годом надежд, споров, освобождения от застарелых страхов. Страхи сидели глубоко, так что даже встреча Зубра на вокзале требовала некоторого граждан-

ского мужества. Все были возбуждены и взволнованы. Не могли представить себе — кого они увидят, какой он стал, узнают ли? В тот год возвращались многие, но этот приезд был особенным. Зубр не возвращался, а приезжал их навестить, он как бы спускался к ним со своих Уральских гор.

Распаренные, счастливые выскакивали из вагонов пассажиры, сустились с чемоданами и тюками; и наконец показался Зубр с супругою. Он был в шубе барского покроя, с бобровым воротником-шалью; она, красавица, потомственная москвичка, которую он звал Лелька, выше его на полголовы, была к тому же украшена высоченной меховой шляпой. Их узнали сразу. Дети, те, кто никогда не видел их, выделили их безошибочно по абсолютной свободе манер, раскованности, той непринужденности движений, которая естественна, красива и почему-то так трудна. Тогда, в 1956 году, это было особенно заметно. Люди держались замкнуто, стесненно, тем более в публичных местах. У каждого времени своя жестикуляция, своя походка, своя манера раскланиваться, брать под руку, пить чай, держать речь. В пятидесятые годы вели себя иначе, чем в тридцатые или двадцатые. Например, на всех произвело впечатление, что Зубр поцеловал руки встречавшим его женщинам. Тогда это было не принято. Поеживались от его громкого голоса, от неосторожных фраз. Что-то было в поведении приехавших не нынешнее, не тутовое и в то же время смутно узнаваемое, как будто появились предки, знакомые по семейным преданиям. Этакое старомодное, отжитое, но было и другое — утраченное. Большинство встречающих учились либо с Лелькой в одной гимназии, либо с ним — в гимназии или университете. Они-то и узнавали общее, молодое, что сохранилось только у этих двоих — у Лельки и Колюши, как звали их однокашники.

Все эти дни и недели застолья сменялись выступлениями, докладами, обсуждениями, бесконечными сладостными спорами, рассказами, расспросами. Капица, Ляпунов, Ландау, Тамм, Дубинин, Сукачев, академики, студенты, знакомые знакомых, родственники — всем было любопытно, и те, кто побывал раз, старались прийти снова. Свита поклонников росла, привлеченная... Чем? Это поняли далеко не сразу.

А пока что... Чернобородый Ляпунов, из семьи великих математиков и сам замечательный математик, вдохновенно воспевал создание Академгородка под Новосибирском. При Академгородке будет создана школа для одаренных ребят, будущих математиков, которых будем выискивать по всей Сибири. Под эгидой математики, высшей из наук, будем выращивать и поощрять другие науки, ибо математика — наука всех наук. Ляпунов приглашал и гуманитариев, обещал им местечко под крылом точных наук. Математикам полезен некоторый гуманитарный блеск для общего развития. Математики возьмут шефство над музыкой, над живописью. Соперничество возникало с физиками, которые считали себя главнее. После атомной бомбы они возбуждали почтение и надежды. Может быть, им под силу создать изобилие энергии, даровым электричеством преобразить окраины, облегчить жизнь, труд, решить все проблемы. Ждали, что последуют новые и новые головокружительные открытия физиков, а тут еще подоспела кибернетика, все зачитывались книгами Винера: фантастические картины будущего приблизились, казалось, вплотную — искусственный интеллект, роботы, обучающиеся автоматы... Строился город физиков в Дубне, атомная станция в Обнинске, институты в сибирском Академгородке. На физическом факультете были неслыханные конкурсы поступающих. Шли кинокартины о физиках, со сцены слышалось: «Эйнштейн», «протон», «кванты», «цепная реакция»... Физики были героями дня. Парни в клетчатых рубашках, лохмато-расхристанные, небрежно швыряющие жаргонными словечками, увенчанные между тем премиями, наградами, высокими окладами, судили обо всем категорично и свысока. Гуманитарии перед ними робели. Стыдились своего невежества. Филология, история, лингвистика, искусствоведение, философия казались науками отжившими, второстепенными. Будущее принадлежало экспериментаторам и теоретикам. Они, посвященные, таинственные, связанные с какими-то «ящиками», обещали перемену нравов, покровительство опальным художникам. Общественное устройство, экономика, право — все будет подчинено оптимальным научным законам...

Газетчики, лекторы доверчиво подхватывали их категорические пророчества.

По всем городам и весям страны полыхал спор о физиках и лириках. Кто развлекался, подначивал, кто всерьез, до боли сердечной, доказывал, что искусство осталось лишь для развлечений, оно — пустая трата времени, если не дает информации. Лирики смущенно отступали, склоняя голову перед новой силой.

За столом у Реформатских, Ляпуновых, у всех друзей только и слышно было, куда ехать, в какой научный центр, где будем строить науку, по каким новым правилам будем там жить, какие принципы положим... Дивное было время!

Биологию, ту тоже обещали перестроить, перевернуть, перепере... Молодые математики, физики, химики засучив рукава брались решить ветхозаветные проблемы биологии. Применить к этим козявкам, травкам электронику, она все измерит, все смоделирует. Приборы откроют двери для математиков. В конце концов, вся вапа биология, биохимия, все это — физика и математика, это разные формы движения материи. Установим связи и познаем сущность самой жизни, а тогда станем управлять процессами в организмах, в природе на всех уровнях. Хватит вам сотни лет возиться у микроскопов, подсчитывать количество ножек у букашек.

Они считали Зубра своим союзником, но он только посмеивался. Грохот физических барабанов не производил на него впечатления.

— В каждом приборе, аппарате я прежде всего ищу кнопку «стоп»!

Такое от него слушать было странно. И отмахнуться было нельзя. О биофизике кому судить, как не ему — одному из ее создателей, основателей.

Физиков обескураживало, что Нильс Бор, Гейзенберг, Шредингер — их кумиры — были для него коллегами, с которыми он работал, общался. Его пригласил сам Капица сделать доклад на ближайшем «капичнике» — знаменитом сборище лучших наших физиков. Выступать на «капичнике» считалось смертельным номером. Здешняя публика воспитана была на крови и мясе. Могли загрызть, растерзать, сжевать, выплюнув любые регалии. Соображали быстро, усекали, что к чему и почему, за несколько минут.

Ничего этого он не боялся. Откуда он взялся, такой смельчак?

Насчет того, откуда он взялся, это он с удовольствием рассказывал. У него было множество рассказов о своих предках. Там имелись истории шутливые, трагические, скабрзные, трогательные.

Как он рассказывал, с каким подмигом, рассыпчатым хохотом, как взгаркивал! Магнитофонная запись — всего лишь чертеж, переписанное в книгу — копия копии, тень рассказа.

От многих славных рассказчиков Зубр отличался тем, что каждая из его историй была не просто милой байкой, она рассказывалась зачем-то, что-то объясняла в нем. Но это мы уяснили себе позже.

Глава третья

Его детство было заполнено пращурами не только девятнадцатого, но и восемнадцатого века.

— ...Тимофеев-Ресовский — это я по отцу. А мать моя урожденная Всеволожская. Древняя-предвняя русская фамилия. На самый верх никогда не попадали, то беднели, то богатели, однако имений своих не теряли, так что окончательного разорения не достигали. Одна из невест Грозного была Всеволожская. При Петре один из молодых Всеволожских полюбился царю и был послан за границу учиться в числе прочих абитуриентов. Вернувшись, как положено, стал работать на благо отечества. Заимел дом в Санкт-Петербурге, процветал. Однако при Бироне, когда петровским птенцам приходилось плохо, его однажды предупредили об аресте, и он драпанул с чадами на своей лошадиной тяге. Смылся он на свои дикие земли в Нижнее Заволжье, куда-то на границу с киргизскими ордами. Поскольку барин он был хороший, из разных имений к нему потихоньку стали стекаться его мужички, тем более что Бирон имения эти реквизирует. Так этот Всеволожский обосновался ровно независимый князек. И задался он — не то чтобы пузо ублажить — полезной целью, государственную, можно сказать, задачу себе поставил: обезопасить торговые пути в Бухару, Хиву, Среднюю Азию, а потом и в Персию. Грабили русских купцов хивинцы, кокандцы, всякие беспризорные кочевники. Он сра-

жался с этими, как он говорил, азиатами. Собралось у него много казаков. Комфорт. Никакого начальства кругом до горизонта, никто глаза не мозолит, ни один мундир...

Смешок, вздох сочувствия, горделивый хмык, как будто не про восемнадцатый век, а про семейные дела, про дядю родного рассказывает. Прапрапрадеды стояли за его спиной, не какие-то пыльные предки, а живые родственники. Соотношение между дремучей давностью и горячим его чувством — вот какое несоответствие удивляло.

— ...Настоящий разбойник без убийства обходится. Ему страха вполне хватает. Для души было у родича отрадное им всем дело: узнав, что где-нибудь на Волге сажали губернатором, комендантом или еще каким начальником немца, он со своими казаками город сей брал штурмом, немца сек публично и с великим срамом отпускал на все четыре стороны, пусть жалется своему Бирону, а сам ускокивал в свое неведомое никому поместье. Так он свои принципы тетешил, пользуясь тем, что веселая Елизавета и матушка Екатерина просмотрели его. Был он ранен на девятом десятке в плечо, но тяжко. Верхом тем не менее доехал до дому, поддерживали его с обеих сторон его казаки. Похоронить себя приказал неподалеку на очень красивом месте. Там протекают никуда не впадающие реки Большой и Малый Узень, они в пески уходят. В овраге Малого Узеня и стояла усадьба. На склоне оврага похоронили его.

Имелся и другой пращур, вполне вроде благонамеренный мужчина, который, однако, дошел до пиратства. Он тоже, между прочим, был отправлен Петром за границу изучать землемерию. Вернувшись, стал землепроходцем, ходил всю жизнь на освоение охотских и камчатских земель. Интересовался образованием рек, озер и прочими объектами физической географии. В чине бригадира, семидесяти пяти лет вышел в отставку и поселился в малом своем имении в Калужской губернии. Собрал он замечательную библиотеку на европейских языках по географии, минералогии, более же всего занимал его Гольфстрим. Изучал он иностранные сведения по дебиту Гольфстрима — куда деваются его воды. Считал, считал и решил, что известные ветви Гольфстрима не покрывают дебита, должно быть

еще одно ответвление на восток от Груманта, ныне Шпицбергена, и Земли Франца-Иосифа. Если там есть острова, то это должны быть зеленые теплые острова, с доброй зимой и ярким летом. И так он возмечтал, так затуманился, что постановил отправиться в экспедицию. Все движимое продал, имение заложил, собрал полсотни своих мужиков-казаков и поехал в Архангельск. Там снарядил три шнеки, и поплыли на них эти чудики в Арктику открывать теплые острова...

Человек, так хорошо знающий своих предков, встретился мне впервые. В наше время дальше деда редко кто чего помнит и знает. Да и не было интереса большого. Что предки? Какая от них польза? «Отречемся от старого мира...» Заодно отрекались и от родословной. Там кто? Угнетатели или угнетенные, темные, забитые. Мы начало всему. Мы всё начинали заново. И снова заново. И еще раз. Чтобы дворянского своего происхождения не скрывать, такого в те годы не водилось. Он же хоть и посмеивался, а рассказывал про своих куролесов с гордостью.

— ...Ехали они помаленьку вдоль кромки полярных льдов. Пращур промерял температуру, скорости и другие качества и, по-видимому, убедился, что был не прав, — неучтенных ветвей Гольфстрима нет, и теплых зеленых островов на горизонте не будет. Добрались они до Груманта, там подхватили их штормы, вынесли в Северную Атлантику и выбросили на берега Нормандии. Несколько человек потонуло, остальные вылезли на французские скалы и отправились в Париж. Вместо того чтобы просить русского посла в Париже отправить их домой, прашкур затевает новое предприятие. Возвращаться-то ни с чем неохота. В это время французские коммерсанты осваивают Алжир, Марокко, а прашкур мой всегда интерес имел к Северной Африке, и предложил он коммерсантам принять участие в их экспедиции в качестве охраны. Подрядились. Отправились в Марокко. Там напали на них марокканские воины, забрали в плен и продали в рабство. Привезли на рынок в Александрию египетскую. Пращур завязал приятельство с единоверными греками, и те кого выкупили из рабства, кого выкрали. Старика выкупили по дешевке — седой да тощий. Жили они у греков. И однажды увидели турецкий фрегат. Там были только часовые. Безлунной

ночью вместе с греками на лодках подплыли, забрались, часовых скинули в море (все, как в романах Стивенсона!), подняли паруса и ушли на турецком корабле. Известно им было, что Россия все еще находится в состоянии войны с турецкой Портой, и стали они каперствовать. Согласно тогдашним порядкам, за участие в военных действиях частный корабль получал процент с награбленного имущества. Поскольку судно оказалось быстроходным, каперствовали успешно, причем на паях с единоверными греками. Море теплое, опять же — воля вольная. Мужичкам-казакам нравилось сие занятие, пока не напоролись на турецкий флот и были взяты в плен. Однако не рабами, а военнопленными. Посажены в лагерь в окрестностях Константинополя...

Далее шел рассказ о том, как снова помогали греки-единоверцы, устраивали побег за побегом, как переправляли беглецов в Малую Азию, пока они не собрались всей компанией и опять долго разбойничали на Анатолийском побережье... Нескольким раз я слышал этот рассказ, он повторялся — с мелкими разночтениями — в точности, но с вариациями и новыми подробностями, такими, которые появляются, когда проезжаешь одну и ту же станцию. Ни в каких печатных источниках история эта не зафиксирована, может, историк и сумел бы кое-что разыскать, но Зубр знал ее изустно: была она одной из внутрисемейных легенд, что передавались из поколения в поколение. Таких легенд набиралось много. Каждая имела сюжет, построенный на самобытном характере, действующем в гуще российской истории, подобно Аннибалу де Коконнасу из «Королевы Марго». Раньше я думал, что наша русская история слишком серьезна и мрачна, поэтому у нас не хватает таких героев, как в «Трех мушкетерах», как герои «Острова сокровищ», «Одиссеи капитана Блада». Ничего подобного, история тут ни при чем. Зубр показывал, что и у нас она богата и смехом, и отчаянными приключениями выдумщиков, пиратов, мечтателей, шутейством, авантюрами и такими анекдотами, которые украсили бы любой плутовской роман.

— ...Новенький линейный корабль и фрегат под турецкими флагами. Команда пировала на берегу. Ночью испытанным способом оглушили часовых и уплыли на север. Там князь По-

темкин формировал в низовьях рек Таврический флот. В один прекрасный день видят, как два турецких военных корабля приближаются к нашим берегам. Однако они идут под русскими флагами. Поднялся переполох. Решили — обман какой-то, хитрость, но тут им на родном языке доступно разъяснили, что на кораблях не басурмане, а вполне русские люди. Было превеликое торжество и вино-питие. Были отправлены гонцы к матушке Екатерине. Она распорядилась приобрести турецкие корабли у благополучно прибывшего из-за границы бригадира и включить их в состав российского флота. Бригадиру же через чин пожаловать генерал-лейтенанта и придворный чин генерал-адъютанта. Деньги немалые позволили ему возместить убытки экспедиции, выкупить именье, наградить своих мужичков...

Оказывается, имелись на эту эпопею документы и грамоты. В семейном архиве хранились дела о приобретении кораблей. Пожертвовали дела эти в Румянцевскую библиотеку, но не успели передать из-за войны.

— ...Не так-то просто государству что-нибудь подарить. В двадцать втором году калужские власти наконец разрешили нам вывезти архив, но к этому времени директор совхоза, украв все, что мог, стал замечать следы, устроил поджог. Сгорели дом, мебель, архив, уже принятый Румянцевской библиотекой и приготовленный к отправке. Черт с ней, с рухлядью, архива жаль. Я бы должен был содействовать, так я на фронты ходил, а когда возвращался, бежал в зоомузей к своим карповым рыбам и бычкам...

Архив сгорел, осталась память, прочная из-за обязанности знать и хранить родословную. Иначе быть не могло. Гордился ли он или стыдился кого из них, но все они составляли его прошлое, его корни в этой земле, в его жилах текла их кровь, в нем жили их гены, он был их продолжением.

Фамильной чертой и по отцовской, и по материнской линиям были поздние браки. Отец, Владимир Тимофеевич, родился в 1850 году, мать — в 1866 году, поженились они в 1895 году, то есть когда отцу было сорок пять, а матери двадцать девять лет. Он же, Николай, Колюша, родился в 1899 году, то есть еще в девятнадцатом веке. Обе бабки родились еще при Александре I.

Одна из них умерла при Ленине — вот какой отрезок захватила! В имении деда жили три старика: повар, садовник и звонарь. Они еще дедом были переведены на пенсию, построили себе три избы и доживали там. Всех троих в 1912 году вывозили в Москву на празднование столетия Отечественной войны, наградили их бронзовыми медалями с надписью «Не нам, не нам, а имени твоему!».

— ...Поскольку я в своем поколении был старшим, то первый к ним прилепился, они меня очень любили, я после обеда бежал к ним пить чай. Готовила им Надька, с их точки зрения девчонка, ей восемьдесят лет было, нянька моей матери. Тоже жила на покое. Я сидел, уши растопыря, слушал их байки начиная с наполеоновских времен. Все это было ими пережито, весь девятнадцатый век, так что для меня это было как современность. История шла ко мне от людей, а не от книг...

В гимназии он живо почувствовал разницу в восприятии истории им и одноклассниками. Для них что Отечественная война, что севастопольская кампания были одинаковой стариной, а для него в севастопольскую повар был уже пожилым человеком, служил казначеем в севастопольском ополчении, которое собирали по всей России...

Теперь могу признаться — слова надписи на медали я при случае проверил в Эрмитаже, в отделе нумизматики. Сперва специалисты сказали, что, очевидно, я перепутал: с подобной надписью медали давались сразу после победы участникам кампании 1812 года, серебряные и бронзовые. В столетие же, в 1912 году, медали были отчеканены с другой надписью. Я расстроился: одна неточность, другая — и рассказы Зубра могли превратиться в рассказы, тень подозрения могла покрыть многое. Я проверял для того, чтобы обрести уверенность. Мне нужна была уверенность. Я вернулся в Эрмитаж и попросил перепроверить. Они покопались в каких-то других справочниках и выяснили, что старикам-солдатам, участникам кампании Отечественной войны, то есть тем, кому за сто лет, давали те самые медали 1812 года, их специально изготовили со старого штампа, сохраненного в монетном дворе: «Не нам, не нам, а имени тво-

ему!» Рассказ Зубра подтвердился. Кроме поразительной памяти, можно было положиться на его добросовестность ученого.

По морской линии в предках у него были: адмирал Сенявин, тот, который кильватерную колонну выдумал; адмирал Головин, который кругосветку плавал, у японцев в плену сидел; адмирал Невельской, который присоединил незаконно Дальний Восток к Российской империи, за что был разжалован Несельроде.

— ...Почти разжалован! Почти! У этого Киссельворде — так у нас дома его звали — не получилось. А было так...

Какое счастье, что я хотя бы часть дослушал, записал... Когда-то отец мой пытался рассказать мне про его деда, моего прадеда, и про какого-то чудака-дядьку, но мне было некогда. Мне всегда было некогда, когда речь заходила о прошедшем, в котором меня не было. Так я и не узнал ничего о своих предках, а теперь уже спросить не у кого. Позади, за детством, за отцовскими братьями и мамиными молодыми польскими фотографиями, смутно шевелятся безымянные фигуры, а дальше — пустошь, холодные просторы опустевших земель и селений...

Глава четвертая

— ...Этот отличился в турецкую кампанию восемьсот семьдесят седьмого — семьдесят восьмого годов на Черном море. Успешно применял мины против турецкого флота. У турок флот был новейший. Русские вместо торпед запускали паровые катера с шестовыми минами, которые надо было завести под корму или еще куда. Два добровольца, один обязательно офицер, другой — матрос, при попутном ветре разгонялись на полный ход против неприятельского корабля, который по ним, естественно, палил из всех пушек. Иногда они успевали его боднуть в бок бомбой. Она взрывалась и доставляла одним радость, другим — неприятности. Матрос и офицер мчались назад; если не успевали, то выпрыгивали и спасались вплавь. Так что они далеко не всегда погибали. Геройство лишнее у нас не поощрялось.

Так и произошло с моим двоюродным дедом, братом моего деда. Сам дед был одним из деятелей освобождения крестьян. Служил директором казенной палаты в Симбирске. Брат же

его, моряк, был чудаковатый холостяк, однако офицер был превосходный. В данной истории взорвали они не какую-то посудину, а линейный корабль турецкого флота, вовремя сиганули в воду, потом выбрались на какую-то косу, спаслись. Наградили его золотым георгиевским оружием и офицерским Георгием четвертой степени — я его помню: белый тяжеленький крестик. Сделался он затем контр-адмиралом и наконец полным адмиралом.

Послали его с учебной флотилией по Средиземному морю. От порта к порту добрались они до Тулона. Стали там. Недалеко Ницца, Монте-Карло. Потянуло его туда, а как увидел рулетку, шарик этот журчащий, так решил рискнуть. Рулетка чем хороша? Это риск в чистом виде. Никакого умения, все расчеты исключены. Касаешься судьбы, выбор у тебя большой: можешь приблизиться к ней с любого бока... Психология играющих в рулетку — занятная штука. У многих людей эта страсть дремлет. Проснулась она и у моего адмирала. Человек он был небогатый по тогдашним понятиям. Жалованье адмиральское — и только. Министерское жалованье и то было небольшое. Мой отец, например, получал вдвое больше министра. А профессор получал вдвое, а то и втрое больше министра. Адмирал взял с собою все золотые франки, какие у него были, немного, и никак не мог их проиграть: куда ни ставит, все ему прибавляется. Бог игры взял его за руку и повел. Игроки знают такое наваждение. Тут не рассуждай и не отрывайся. Дошел он до редкого события — сорвал банк Монте-Карло. Сколько в точности — не помню, три миллиона или же пять миллионов франков. Одним словом, в этот день банк прекращает платежи, и вся музыка кончается до завтрашнего вечера. Выплатили ему деньги. Он послал длинную телеграмму моему деду, своему братцу: посмотри, мол, хорошее именище поблизости. И отправил сколько-то тысяч франков в задаток. Сам же пошел со своей эскадрой дальше. Он не был ни кутила, ни пьяница, но, приезжая в очередной порт, отправлялся в ресторан и открывал его для местного населения, чтобы пили и гуляли в честь российского флота. Будучи в Италии мальчиком, мы с отцом заставляли еще в портах людей, которые вспоминали, как один русский поил и кормил горожан. Так он добрался до Константинополя. Отту-

да дед получил от братца телеграмму — вышли сто рублей. Все миллионы спустил. Было это в начале девяностых годов. Вышел в отставку высокопревосходительством. Я видел его в парадной форме. Ослепительное зрелище! С этой формой тоже был случай на моей памяти, в девятьсот шестом году.

В Калуге сидел тогда отвратный губернатор. Земцы с ним не ладили. Они старались завести ветеринарные пункты, чтобы присматривать эпизоотическое состояние бессловесных скотов, кормящих всяких словесных скотов. Губернатор же чинил им препятствия. Адмирал слушал, слушал жалобы земцев, которых мало уважал, да как закричит на них: «Что вы языками попусту чешете! Как так — губернатор противится? Раз дело правое, значит заставить его надо». Велел заложить карету четвериком, на козлы — кучер, на запятки — матрос его бывший (он любил ездить по-старинному), а в карету приказал посадить полдюжины овец. И поехал в Калугу. Подкатил к губернаторскому дому. Там увидели, что вылезает полный адмирал во всем обличье, при всех регалиях, лентах. Доложили губернатору. Тот выбежал на крыльцо приветствовать. Высокопревосходительство вошел в переднюю. «Мне, — говорит, — сообщили, что ты против ветеринарных мер». На «ты» его, начальственно. «Надо, — говорит, — вводить пункты ветеринарные. Но раз ты против, привез я тебе, милейший, полдюжины своих овец, лечи их». Хлопнул в ладоши, и матрос загоняет их в губернаторский дом. Губернатор в ужасе. Лепечет, что неправильно его поняли. «Ну, раз неправильно — другое дело. От тебя только бумажка требуется. Присылай в ресторан, я там обедаю. Пришлешь?» — «Пришлю».

Адмирал погрузил обратно своих овец. Поехал разыскивать земских деятелей. Повез их в ресторан. Сидят выпивают. Является нарочный от губернатора с бумагой. Земцы обалдели...

Адмирала Зубр хорошо помнил и кончину его помнил. Отпраздновав свое восьмидесятипятилетие, адмирал привел все дела в порядок, огласил завещание и застрелился из револьвера системы «бульдог».

Кончено дело, зарезан старик,
Дунай серебрится, блистая.

Первая строка его излюбленной присказки произносилась с мрачным наслаждением, затем переход к радостному удивлению и хохот.

Глава пятая

— ...По случаю жары все участники семинара заходят в воду по горло, а докладчик по пояс, — предложил Зубр.

Докладчик, Владимир Павлович, хоть и фронтовик и в те годы отнюдь не пожилой, пришел в некоторое смущение, счел это неуместной шуткой, более того — неуважительной по отношению к докладчику: слушание в воде — обстановка явно неподходящая. Происходило это в Миассове в девятьсот пятьдесят восьмом году. К такому еще не привыкли. По крайней мере, биологи. Тогда Зубр со всей серьезностью поставил вопрос на голосование: подходящая обстановка или неподходящая? Разумеется, большинством голосов признали, что в такую жару нахождение семинара в воде — вполне подходящая обстановка. После чего все слушатели разделись и полезли в воду — студенты и доктора наук, девицы и пожилые люди и сам Зубр. Докладчик хоть и остался на берегу, должен был разоблачиться до трусов. Свои графики он чертил мелом на опрокинутой лодке.

Из всех заседаний запомнилось более всего это, в воде. Запомнилось и самому Владимиру Павловичу, несмотря на то что оно вроде бы шокировало его. Запомнилось всем участникам и его сообщение. Потому что — в воде. Хотя оно и само по себе заслуживало.

— После доклада он меня поцеловал. Это было посвящение. Я почувствовал: у меня отрастают золотые шпоры. — Он замолчал, пораженный какой-то мыслью, потом сказал: — Помните, в «Фаусте»: «Ты равен тому, кого понимаешь». Зубр был выше меня, потому что я его не понимал. Но дело в том, *как* я его не понимал. Так не понимал, что он был на две головы выше меня.

Владимир Павлович о себе достаточно высокого мнения. Он человек скорее скептический, чем восторженный. Характеристики, которые он дает людям, едки и разоблачительны, а здесь... Я раздумываю, в чем же непонятность Зубра.

— Он обладал стратегическим подходом к биологии. Это так же, как если бы я, мысля на уровне командира батальона, пытался понять мышление командующего фронтом.

Снова он вернулся к тому поцелую, которым гордился не меньше, чем фронтовыми орденами.

По вечерам на берегу Можайского моря устраивали костер и большой общий треп. Главой трепа был Зубр. Он заставлял выступать старых профессоров, докторов и прочих мэтров. Кто о чем: о своих путешествиях, о картинах Рериха, о женской красоте, о стихах Марины Цветаевой.

В желтом танцующем свете костра совершались превращения: некоторые известные, заслуженные ученые оказывались бесцветными рассказчиками, многословными, лишенными собственных мыслей. Они сообщали вещи банальные, от приближения эти люди проигрывали. Выйдя из храма науки, жрецы становились скучноватыми обывателями. Но были и такие — чем ближе, тем интереснее. Были сочинители весьма неплохих стихов, были остроумцы, были талантливые рассказчики, были знатоки истории. Тем не менее все это рано или поздно приедалось, и тогда обращались к Зубру, упрасивали его что-нибудь рассказать о себе. Жизнь его казалась неисчерпаемой...

Глава шестая

Наступали на юг, он был рядовым красноармейцем 113-го пехотного полка, потом военное счастье перевернулось, и они стали отступать перед «дикой дивизией», как называли мамонтовские части. Его назначили командиром взвода. Командовал он недолго, подхватил сыпняк. Его пришлось оставить на каком-то хуторе. Полк его расколошматили. Он лежал без призора не помнит сколько. Зима еще держалась. В бреду он выскакивал наружу, на снег. Мимо проходила красная воинская часть. Хозяин хутора постарался сбыть его. Санитары взяли его и, как тогда выражались, «ссыпали» на сыпной пункт, то есть на солдатский сыпнотифозный пункт. Разместился пункт на сахарном заводе километрах в двенадцати от Тулы. Лежали вповалку и командиры, и красноармейцы в главном заводском корпусе. Окна были выбиты. «Ссыпали» туда солдатиков сыпнотифоз-

ных, брюшнотифозных, с возвратным тифом, с пятнистым тифом — со всеми тифами; а также контуженных, простуженных и прочих. В конце концов все получали тот или иной тиф в придачу к тому, с чем их привезли. Около двух тысяч лежало там. Колюша наш выжил прежде всего потому, что крепок был исключительно. Кроме того, по его теории, еще и потому выжил, что лежал у самого окна, на морозце. Уход за сыпнотифозными, поскольку врачей не имелось, заключался в том, что через день приезжали на санях солдатики, привозили свежих сыпняков, забирали очередные трупы, сваливали их рядками на свой транспорт и увозили. А заодно с больными привозили по два ведра на каждый зал «карих глазок». Суп варили такой из голов и хвостов воблиных. Сама вобла шла куда-то, видно воюющим солдатам, может, в детские сады, в детприемники, — кто его знает, а вот обрезки кидали в суп, туда же добавляли чуток пши, была такая дальневосточная дикая культура вроде проса. В Москве из всех каш была пша. Осточертела она всем до предела, поговорку даже переделали: тля ест травы, ржа — железо, а пша — душу.

Ведра с «карими глазками» ставили у входа, и проблема была — доползти, ибо сил не хватало. Когда Колюша оклемался, почувствовал он голод, зверский аппетит. Вернее, так: почувствовал голод и понял, что перемогся, не помер. Слабость была ужасная, сил хватало только на то, чтобы на брюхе, крокодиллом, переползть между больными. Подползал к покойничку, у солдата над головой в вещевом мешке всегда какая-нибудь жуйка хранится. Пошарит, пощупает — глядишь, корочку нашел. Сосал. Грызть сил не было. Потом добирался до ведра. Надо было подняться, чтобы мордой залезть в ведро. В зеленой водичке плавали вываренные воблины глаза, кругленькие, со зрачками, потому и назывался супок «карие глазки». Сухая корочка да «карие глазки» — вот чем душа держалась, не отлетала. Возможности человека в смысле голода велики, голодать человек может долго, если не паникует.

Начальствовала над этим учреждением сестра милосердия. Время от времени она появлялась, как фея, в красных резиновых сапогах, поверх шубки белый халат. Заглянет в зал, заплачет и уйдет. Ни лекарств у нее, ни санитаров. Случилось как-то

раз — дошла она до Колюши. А он уже шевелил руками, двигался. Вокруг трупы. Ну она, естественно, обратила внимание на живого. Спросила:

— Ты кто?

Колюша докладывает: так, мол, и так, воюю краснопугом, а был студентом-зоологом Московского университета.

Студенту она очень обрадовалась и сообщила, что она тоже студентка-медичка из Москвы, мобилизована.

— Очень у нас тут ужасно. — И опять слезы побежали.

Колюша утешает ее: бывает, мол, хуже. Конечно, не сладко, конечно, жалко людей, но вот он, например, выжил! Теперь задача не загнуться от голода. Жрать охота до безумия. Может, он и добыл бы пропитание, но подняться не в силах. Пока до «карих глазок» доползет, измучается.

— Ну это, — говорит она, — я вам помогу, это я сейчас.

И принесла ему котелок гущи, корочку какую-то. У Колюши друг-приятель был Шура Реформатский. А у того сестры тоже медички-студентки. Так что общие знакомые нашлись. Милосердная сестрица с того дня приносила кусочки клейкого хлеба из жмыха. Видно, часть собственного пайка отдавала. И Колюша стал быстро поправляться. Только его организм мог на таком рационе ожить и сил набирать. К стенке спиной прижмется и, помогая руками, вползает, поднимается. Стоял на дрожащих ногах. Сестрица брала его под руку, несколько шагов он делал. Потом сам ходить стал, держась за стенку. В один прекрасный день сестрица принесла ему бумагу и литер: «Красноармеец такой-то, перенесший сыпнопятнистый тиф, отправляется для поправки на шесть недель домой».

Были у нее на руках еще бумаги такие же на одного возвратника, то есть больного возвратным тифом по фамилии Сергеев. Вроде он выздоравливал, выписывался, а ночью умер.

— Возьми, — предложила она, — тебе пригодятся.

И действительногодились.

На следующий день с рассветом отправился Колюша пешком в Тулу. Одолеть пятнадцать километров для него было — что отправиться за тридевять земель. Спотыкался, падал, а упав, полз до забора, до дерева, потому что на гладком месте встать не мог. До Тулы добрался к ночи. Пятнадцать часов полз эти пятнадцать километров.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗУБР. Повесть	5
---------------------	---

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Наш комбат	303
Кто-то должен	349
Дождь в чужом городе	424
Мимолетное явление	474
Наш дорогой Роман Авдеевич	493
По ту сторону	569

Литературно-художественное издание

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРАНИН
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Виктория Манацкова
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Светланы Шведовой
Корректоры Елена Терскова, Татьяна Бородулина
Главный редактор Александр Жиканцев

Подписано в печать 25.10.2018. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 38. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-AMS-24845-01-R